

ВАСИЛЬ ХОМЧЕНКО, пісатэль, падполковнік юстыцыі ў адставке

Прогулка по парку с прокурором

С падполковніком юстыцыі ў адставке Міхаілам Абрамавічам я знаёмы даўно. Мы шмат лет служылі разам у Мінскай гарнізоне, ён — у ваеннай пракуратуры і — у трыбунале. Часта ён удзельнічаў у судэбных працэсах, на якіх я прэсідэнтам стаяў. Ён, наодрэ, і быў заўсёды рад, калі яго выдзеньвалі абавязкова па разглядваемым мною дэламі. Кваліфікаваны і юрыст. Міхаіл Абрамавіч падходзіў да кожнага дэлу і кожнаму падсудзімому толькі з меркаваннем справядлівасці і гуманнасці, рашуча адмаўляўся падтрымліваць абвінавачаных па эпізоды, якіх не мелі твёрдых доказ. Суждзеныя, мае і яго, як правіла, супадалі і па кваліфікацыі прэступных дзеянняў падсудзімага, і па меры накіравання. Допросы падсудзімых, пацярпелых, сведчальных ён вёў умела, разумна, ніколі астраўна. Так жа кваліфікаваў ён і прэсідэнта і прэсідэнтальнае следстванае, памагалі следстванаму распутыць казальна былі безнадзейныя дэла. Одним часам, Міхаіл Абрамавіч быў настолькі юрыстам і мог бы займаць значна больш высокую даслужэнне, чым та, якую займаў. Фронтанік, азначаны многімі боевымі наградзямі, з даваенным партыйным стаўнем, ён аддаў ваеннай службе больш трыццаці лет.

Нам казалася тады, што мы знаём друг з друге ўсе і ў самым дэле шмат аб сабе расказвалі, на што былі расказы ў асновным аб вайне, учебе і, безумоўна, аб разных угодных гісторыях і юрыстычных казусах, з якімі кожны з нас прыходзіўся сустрачацца па службе. Аднак у нас былі і свае тайны, аб якіх мы тады молчалі. Асабліва пратаў сваю тайну я.

Жыў я тады напроціў парка Челюскінцаў. Аднажды, напрымаўшыся ў гэты парк, я сустраціў Міхаіла Абрамавіча і прыгласіў яго прагуляцца. Ён адказаўся.

— Не люблю гэты парк, — сказаў ён, — абдымаю яго.

— Сосновы дух не переносіш?

— Да, нет, — засмеяўся ён, — здесь сплосы могилы. Не могу по человечески ходить.

Я слышал, што ва вяршыні акупанцы немцы расстреливали в парке наших людей, и подумал, что Михаил Абрамович имел в виду их могилы. Беседа тогда на эту тему не продолжилась, а потом и забылась.

Міхаіл Абрамавіч старшы мяня на пяць лет, і армейскі стаж у яго доўжы — прызваўся ён яшчэ ў трыццаць пятым із сваіх родных Плёшчэнцаў, дзе нарадзіўся, скончыў школу. А прызваў яго на срочную службу ў войска Наркомата внутрэнніх дэле. Расказываў, што ахраняў внутрэннюю тэрму з палітычэскімі заключэннымі, конвоіраваў арэстываных ў суд — дэле та, што дэле і дэлеюць абвонсловажыя гэтых войска.

Как-то, гуляя по Ленинскому проспекту, мы оказались около здания Министерства внутренних дел республики. Михаил Абрамович повернул с проспекта на улицу Урицкого, через несколько шагов остановился и показал на бетонные выступы-порожки около стены здания.

— Вот здесь в тридцатые годы были окна с решетками. А внизу — подвальные камеры, где сидели арестованные, так называемые враги народа. А в рядовой, охранял эти окна. Ходил с винтовкой около окон по тротуару. Когда времени там, в камере, заканчивалось, я прикладывал пистолет к тротуару, чтобы замолчали. Это было в тридцать шестом — тридцать седьмом годах, — рассказывал Михаил Абрамо-

вич. — В тех подвальных камерах и я был, не знаю, больше ли или меньше, но знал, что людей было уда напихано, как селедок в бочке. День и ночь из тех окон шла пар, как из бани.

В — теперь я и вернулся к своей тайне, которую я прятал и от Михаила Абрамовича. В одной из тех подвальных камер в апреле-июле 1937 г та сидел я. Значит, Михаил Абрама-

вич и в этот день заглянул, и может на мой голос стучал прикладом и топал сапогом, заставляя замолчать. Нам из тех камер были видны только ноги часового и приклад его винтовки — это когда он приближался к решетке. Окна камеры находились под самым потолком, и чтобы увидеть что-то на улице, нужно было становиться на кровать. Мы так и делали, когда часовой отходил от нашего окна...

Про свой арест, судимость я открылся только после военной службы, когда вышел на пенсию. А осужден я был в тридцать седьмом году Специальной коллегией Верховного суда БССР за так называемую антисоветскую агитацию на четыре года лагерей и три года поражения во всех правах после отбытия наказания.

Моя судимость, про которую я открылся, уличила всех знакомых и особенно мое бывшее трибунальское начальство. Как же так, не понимали они, человек, судимый за государственное преступление, был судьей трибунала и сам судил? Более того, с неснятой судимостью, с поражением в правах удалось пойти в армию, вступить в комсомол (во второй раз, до ареста я уже был комсомольцем), потом в партию, окончил военно-педагогическое училище, воевал, получил и орден, и медали, а после войны поступил и окончил военно-юридическую академию, куда отбор слушателей был очень строгим. Надо ска-

зать, что я и сам в те годы удивлялся: почему меня не разоблачат, не останавливают мою камеру? А я шел напролом, ломился в самые строго охраняемые служебные двери. В автобиографии и анкетах я, конечно, о своей судимости не писал.

Сразу после войны мне, как и многим молодым офицерам-фронтанікам, был предложён выбор военных учебных заведений. Я мог поступить в военно-медицинскую, артиллерийскую, военно-политическую академию, в военный институт иностранных языков. Я выбрал военно-юридическую академию. Ей-Богу, было бы предложенье в академию госбезопасности, поступил бы туда. Я был уверен, что меня проверили неоднократно и не могли не узнать о моей судимости — все судимые у нас на строгом учете. Тогда почему же мне об этом не говорят, а наоборот, открывают передо мной все двери?

Все раскрылось во время моей реабилитации в шестидесяти девятом году.

В прокуратуре республики, куда я нес заявление о пересмотре моего дела, удивился не меньше, чем мой друг зья. Прокурором БССР был тогда Постриевич, с которым и в бытность его военным прокурором Белорусского военного округа был в хороших отношениях. Он, генерал-майор юстыцыі, был и моим земляком, родом с Могилевщины. «Василь судим? — не верю! — Не может быть». И уж совсем не поверил мне в этой прокуратуре, когда в моем присутствии позвонили в Комитет госбезопасности Белоруссии и запросили данные о моей судимости. Ответили быстро, минут через восемь: Хомченко В. Ф. среди судимых не значится. Точно такой же ответ пришел после и из Москвы. Я же, понятно, настаивал на проверке моего дела, и из прокуратуры, записав название лагеря, где я отбывал приговор, посла запрос туда. Оттуда и подтвердили, что я находился в Нижне-Амурском лагере, освобожден 8 апреля 1941 года. После этого в архивах КГБ нашлось и мое дело. Верховный суд БССР пересмотрел его и реабилитировал меня полностью.

А теперь надо объяснить, почему же я со своей судимостью так и остался неразоблаченным. Мне очень повезло: при вывозе из Минска во время войны архивы НКВД моя учетная карточка да по-види-

мому и само дело были засунуты то ли не в тот ящик, то ли может даже не в ту папку. Поэтому при проверках среди судимых мою фамилию и не находили.

Услышал о моей реабилитации Михаил Абрамович и встретился со мной:

— Слушай, — воскликнул он. — Так мы же с тобой могли еще тогда встретиться! Я тебя мог конвоировать из тюрьмы в тюрьму, на суд и, конечно, предупреждал: «Шаг влево или шаг вправо — считаешься попыткой и бегству, буду стрелять».

— Может и предупреждал

— да я и не думал бегать.

— А то, что и охранял в том подвале на Урицкого, так это точно. Все месяцы твоей отсидки я как раз и стоял там часовым.

— Стучал прикладом, когда я читал стихи.

— Так это ты читал? Мне было интересно слушать, и я иногда не стучал. Свои стихи читал!

Я рассказал, что в каждой той камере сидели поэты, они и читали сложенные там же поэтические строчки. По соседству с нашей камерой — ставали по перестуку — страдал Михаил Александрович, в другой

— Михаил Чарот, Юрка Левонный. В моей камере находились аж три литератора: писатель и академик Янка Неманский, поэты Янка Тумилевич, Моисей Сиднев — студент пединститута, талантливый парень. Камера наша, рассчитанная в нормальное время на четырех человек, вмещала тогда целых десять человек. Дышать было нечем, вот и шел пар из окна, как из бани. Из тех заключенных-однокамерников уцелели я и Моисей. Остальных расстреляли. Расстреляли Янку Неманского, инженера кирпичного завода Блохмана, комиссара авиационного полка Иванова, в камере он появился в красном кожаном пальто-плаще, которое давал примерить и мне). Расстреляли железнодорожника — снабженца Зибермана или Зис рштейна, забыв фамилию. Расстреляли двух колхозников из Логойского района, колхозника-баптиста, взятого уже во второй раз. Меня и Сиднева суд пожалел, учел нашу молодость — мне только что исполнилось восемнадцать. С асибо судьям Специального Верховного суда БССР, к сожалению, не знаю их фамилий, — дал только четыре года, а могли же отвалить и десять.

Многих, конечно же, заинтересует, какое же политическое преступление я совершил. А вот какое. Прислал отец из деревни письмо, что не может рассчитаться с налогами: мясо

слай, молоко слай, шерсть слай, деньги заплати, а на трудовин уже 1 торый год ничего не дают. Отец просил меня: «Может бы ты, сынок, помог мне деньгами? Это у меня, студента-рабфаковца, просил, которому хватало стипендии только пообедать каждый день в студенческой столовке. Тогда я вел дневник, записал в нем о письме отца и просьбе ко мне, от себя догадал, что все это происходит под счастливым сталинским солнцем. Один студент-стукач тайно залез в мой чемодан, прочитал дневник, эту запись и послал донос в НКВД. Меня арестовали, приписали враждебную агитацию. За это «сталинское солнце» я и поплакался.

Вот такая была моя тайна, которую я тщательно прятал, в том числе и от Михаила Абрамовича.

Ну, а его тайна была совсем иная, связанная с его службой в тех внутренних войсках.

Привожу его рассказ об этой тайне.

— Я не только охранял тюрьму и конвоировал арестованных, но делал и еще что-то страшное, — рассказывал Михаил Абрамович. — До армии я научился водить автомобиль. И вот однажды мне мой начальник говорит: «Шефер с. е. е. е. заболел, попал в больницу. Пока он болеет, ты временно заменишь его — сядешь за руль». Я — боец рядовой, приказ есть, приказ, сел за руль этой спецмашины, которую в народе прозвали «воронка» или «апаном». Ночью я подогнал ее и на каком-то дому, откуда вывозили одного или нескольких арестованных, самали в «воронку», и я ехал в тюрьму, а те самые подальшие камеры, где ты сидел, или в «американку» — круглую тунную тюрьму-башню, построенную по американскому образцу. Однако это не самое страшное.

Страшно было, когда повез в этом «воронке» не то людей на расстрел. Сколько их набили в машину, не знаю, но много. Самали их в машину с заведенными назад руками. Ехали они стоя. Теперешний парк Челюскинцев тогда был еще обнесенным лесом на окраине Минска. Вот туда, в тот парк и приказали ехать. Объявили сердце и повернули к восточной части парка. Если стоять на проспекте лицом к парку, то это будет слева. На полпути остановились. Там уже была выкопана яма метра два на четыре. Из машины охранники начали выводить по одному и сагали на край ямы так, чтоб были спущены ноги. Охранники стреляли и зашлюк, и человек валялся в яму лицом вниз. Перед приездом там лежало уже другая машина, и яма была наполнена трупам. Когда расстреляли всех из нашего «воронка», то трупов наполнилось по самые края ямы. А их же надо засыпать землей и, чтобы не получилось бугра, здоровяки-охранники начали эти трупы утаптывать. Утаптывали так, что даже был слышен треск костей. Такое вспоминать ужасно. После расстрела охранники зашивали яму.

Таких повозок я сделал несколько и все в новые ямы, туда же, в парк Челюскинцев. Я уже говорил, что возили туда и другие «воронки», поэтому сколько там могил осталось, навряд ли можно подсчитать. Много.

Однажды, чтобы ускорить расправу, охранники вывели из машины всех сразу и рассыпали по краям ямы. Жерганы со связанными руками сидели молча. Лица их нельзя было

рассмотреть в темноте. Не поверишь, никто не кричал, не плакал, даже женщины, а были и они. Я поставил машину, отходил подальше и слышал только выстрелы. Но дважды присутствовал, и то не до конца. Это первый раз и тот раз, когда всех сразу вывели. Так вот, сидят эти несчастные на краях ямы, молчат, ждут. Единственно, все же до конца не веришь, что на расстрел их привезли. А исполнитель с наганами сзади стоит. А потом по приказу — взмах руки старшего — начали халить. Некоторые не сразу падали в яму, тогда в них второй раз стреляли и телкали ногой вниз...

— А мог ли кто и неубитый устать? Лишь раненный? А потом вылезти? Ночь же темная, — спросил я.

— Я слышал, что кто-то вылез из ямы и, даже будучи засыпанным, спасся. Но правда ли это, не знаю.

— Так никого из жертв в лицо и не запомнил? — спросил я.

— Запомнил... И теперь помню. Тогда из тюрьмы выехали, когда уже ночь кончалась. Приехали в парк, и светать начало. Охранники стали спешить, чтобы управиться до солнца. Открыли двери «воронки», сконцентрировали выводить по одному. Я стою, думаю, посмотрю, кто же выйдет, что за человек, а идт какой знакомый? И что же я думал? Вышел мой учитель белорусского языка и литературы из Плещениц. Увидел меня, узнал. «Миша!» — вскрикнул он, и такая надежда вспыхивала на его лице, так он зашептался, обрадовался: а может, я и есть тот последний, кто спасет его. «Миша!» — повторил он, остановившись около меня. — «Ты здесь?». Охранник толкнул его в спину и подвел к яме, приказал сесть, а учитель стоит, на меня смотрит, ждет чего-то от меня — спасения. Я же как обомтел: ни шевельнуться, ни сказать что-нибудь. Да и что я мог сделать или сказать? Охранник не стал ждать, когда учитель сядет, и уговаривать не стал больше, а выстрелил ему в висок. Тогда я побежал и бегал долго, сам не зная куда. Слышал, что выстрелы прекратились, что меня зовут, матерятся, ехать надо, а я лежу. Меня нашли, дали по шею. По дороге старший охранник стал меня успокаивать: «Подумайшь, учителя встратил. Я своего тестя шлепнул. Служба есть служба. Разве же я знаю, кого мне привезут? Отца родного привезут, и отца родного в распыл пушу». Больше на «воронку» я не ездил.

— Отказался? — Тот постоянный водитель, которого я заменил, из больницы вернулся. А я снова стоял на улице Урицкого, тебя охранял.

Мы пошли тогда в парк Челюскинцев, где Михаил Абрамович и показал мне ту часть парка, где в тридцатых годах расстреливали людей. И места могил приблизительно показывал. Так стоял какой-то бетонный столбик, который, как говорил, означал, что якобы здесь расстреливали наших людей немцы.

Теперь не только Михаилу Абрамовичу не хочется заходить в этот парк, но и я бываю там очень редко. Слишком уж неуютно там себя чувствую. Так и представляется, что ступаешь по костям людей, по черепам с дырочками и затылками. Страшно это ощущение.

Надеюсь, что после Куропатских могил правительст-

венная комиссия, которая там работает, займется определением места сталинских расстрелов и в парке Челюскинцев.

...В день своего ареста — 5 апреля — я всегда иду на улицу Урицкого и около нашко дого замурованного окошка бывшей тюрьмы кладу по два цветка в память о своих однокамерниках, что здесь страдали и погибли. Правда, цветам долго лежать не дают, выходит из дома кто-то в форме и убирает их. Зачем, чего бо- ляться?

И еще одно. Когда эти заметки были уже написаны,

эта статья должна была быть опубликована 2.09.88 г. в еженедельнике «Литература і мастацтва» («Литература и искусство») — органе Министерства культуры и правления Союза писателей БССР. Но набор был рассыпан. Редакция журнала «Гражданин» ждала год, надеясь, что статья все же будет опубликована. Увы!

прочитал в «Известиях» от 28 августа заметку собственного корреспондента газеты М. Шиманского «Чьи останки похоронены в лесу под Минском?». М. Шиманский как будто сомневается насчет того, что происходило здесь в конце тридцатых — начале сороковых годов. Что касается меня, там у меня лично нет никаких сомнений. Еще когда я сам сидел в внутренней тюрьме НКВД, уже говорилось о Куропатах.

Перевод с белорусского
В. НАУМЕНКО

Сяржук Сокалаў-Воюш

ПАЦ

Лурывак/

Чароды перапуджаных варон
Крыч і страшным крыкам неваронім...
— Слабо, сяржант, на трох адзін патрон?
— Чаму слаба, калі страляць у скроні?
— Тады страляй.
— Паб'ёмся аб заклад?
— На куфаль піва?
— Лепш на цыгарэты,
Мо прывыкнуць яшчэ на добры лад
Якога дэп'ямата ці паэта...
І тут з машыны выпіхнулі трох.
— Глядзі, сяржант, якраз, як мы хацелі.
Тры г. лавы і — слоены пірог.
— Прймай работу, — вымавіў — і стрэліў.

Упала двое: першая — яна,
Дзяучына, чарнакосая такая,
І ён — стары, на скронях сівізна,
А у сівізьне крывавае крывае.

Сагнуўся трэці. Ірвануў на плот.
— Трымай падлогу!... Засьпявалі кулі.
Скачск адчаю — і застаўся... бот
Ды кудлак і скрываўленай кашулі.

Спацьвыпуск да друку падрыхтавалі: Ігар
Міхалюк, Сяржук Вітушка, Алесь Гур-
коў.

У друку зладзена 5 лістапада 1988 г.